

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

МАРТИН
ХАЙДЕГГЕР



НИЦШЕ
И
ПУСТОТА

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

Философский поединок

Мартин Хайдеггер

Ницше и пустота

«Алисторус»

1961

УДК 323(470+571)
ББК 470+571) ББК

Хайдеггер М.

Ницше и пустота / М. Хайдеггер — «Алисторус»,
1961 — (Философский поединок)

ISBN 978-5-907028-41-8

Мартин Хайдеггер (1889 — 1976) — немецкий философ, один из создателей и лидеров экзистенциальной философии. Своими работами М. Хайдеггер оказал большое влияние на развитие современной философии, психоанализа и других течений глубинной психологии, всего гуманитарного знания. В книге, посвященной творчеству Ф. Ницше, Хайдеггер ведёт полемику с ним по вопросам бытия и его смысла, проблемам личности в современном мире, истокам заброшенности человека, одиночества, тревоги и страха. Это настоящий философский поединок, в котором Хайдеггер, используя большие фрагменты из произведений Ницше, предоставляет своему противнику право наносить удары, а потом отражает их, доказывая, что темная бездна пустоты не может быть основой бытия. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 323(470+571)

ББК 470+571) ББК

ISBN 978-5-907028-41-8

© Хайдеггер М., 1961

© Алисторус, 1961

Содержание

Вместо вступления	5
Часть I	7
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Мартин Хайдеггер

Ницше и пустота

Вместо вступления

Творческий ландшафт: почему мы остаемся в провинции?

На крутом склоне широкой высокогорной долины в южном Шварцвальде, на высоте 1150 метров над уровнем моря, стоит хижина – небольшой лыжный домик. Его площадь 6 на 7 кв. метров. Крыша низко опускается над тремя помещениями – кухней, спальней и кельей-кабинетом. По узенькому дну долины и по точно таким же крутым склонам гор разбросаны крестьянские подворья с огромными, низко нависшими над ними крышами. Луга и пастбища тянутся вверх по склону до самого леса с его высокими, темными, старыми елями. А над всем этим стоит ясное летнее небо, в сияющие просторы которого широкими кругами взмывают два ястреба.

Вот мой мир – мир, в котором я тружусь, если смотреть на него созерцательным взором гостя и отпускника. Я же, собственно, никогда не рассматриваю это как ландшафт. Я постигаю его в опыте жизни: ежечасно, денно и ночью плавает он в великих волнах времен года. Тяжесть гор, крепость ее первобытных пород, задумчивый рост елей, светлая безыскусная роскошь цветущих горных лугов, шум ручья, бегущего по камням бескрайней осенней ночью, суровая простота занесенных снегом равнин – все это теснит и торопит одно другое, ведет свою ноту сквозь каждодневность существования там, вверху, в горах.

И все это опять же не в особо избранные мгновения сознательного сосредоточения, нарочитого вчувствования, а только тогда, когда свое собственное существование – внутри своего труда, в нем. Только труд разверзает просторы, в какие вступит действительность этих гор. Черета трудов до конца погружена в ландшафт, в его совершающееся пребывание.

Когда во мраке зимней ночи вокруг хижины бушует снежная буря с ее свирепыми порывами ветра, когда все окрест застилает снежная пелена, все скрывая от глаз, вот когда наступает время торжествовать философии. Вот когда она обязана вопрошать просто и существенно. Всякая мысль должна прорабатываться сурово и отчетливо. Тогда опечатлется труд мысли в языке – все равно как ели, высясь, противостоят буре.

И эта философская работа протекает не как сторонние занятия чудака, засевшего в своем углу. Самое место ей – среди крестьянских трудов. Молодой хозяин с великими усилиями затаскивает по склону горы тяжелые розвальни, чтобы, загрузив их буковыми поленьями, направить в опасный путь назад к своему двору; пастух медленно, раздумчиво бредет, гоня стадо вверх по склону горы; крестьянин, сидя в своей комнате, заготавливает в бесчисленном количестве, по всем правилам искусства, кровельную дрань для крыши своего подворья, – и мой труд точно таков. В этом торжестве коренится непосредственная принадлежность его крестьянам. Горожанин думает, что идет «в народ», когда нисходит до длинного разговора с крестьянином. Когда же у меня бывает перерыв в работе и я сижу с крестьянами на скамье у печи или за столом в красном углу, то мы обычно вовсе не разговариваем. Мы курим трубки молча. Время от времени кто-то, бывает, и вымолвит слово – про то, что рубка леса подходит на этот год к концу, что прошлой ночью куница забралась в курятник, что хозяина двора Эмми разбил паралич, что завтра пора отелиться корове, что дело идет к перемене погоды...

Горожанин, побывав, как говорится, в деревне, в лучшем случае «загорится». Мой же труд от начала и до конца несут и направляют эти горы, эти крестьяне. Порой труд в горах

приходится надолго прерывать – там, внизу, надо преподавать, надо вести переговоры, писать отзывы, разъезжать с докладами. Но как только я возвращаюсь наверх, в первые же часы весь мир прежних вопросов вновь со всех сторон обступает меня в домике, и при этом в тех же самых словесных впечатлениях, в которых я оставил его. Меня просто-напросто переносит в труд с его особым ритмом колебаний, и, в сущности, я вовсе не управляю его сокровенным законом. Жители города дивятся – как можно так долго оставаться одному среди однообразия крестьянской жизни. Однако я тут не в одиночестве – я в уединении. В больших городах легко оставаться одному – легко, как едва ли еще где. А жить уединенно там нельзя. Ибо перво-зданная сила присуща уединению – оно не обособляет, не разъединяет, но все существование твое здесь круто обрушивает в самую широту близости и сущности всех вещей. Там далеко, за горами, не успеешь и оглянуться, как сделаешься «знаменитостью» – благодаря газетам и журналам. Самый надежный путь к тому, чтобы наисокровеннейшее воление твое было предано лжеистолкованию, а с тем и скорому, основательному забвению.

Напротив, крестьянская память отмечена верностью – простой, надежной, неослабной. Недавно тут умирала старуха-крестьянка. Она любила поговорить со мной и в разговоре припоминала старые деревенские истории. Ее образный, выразительный язык еще сохранял множество старинных слов, немало изречений, успевших забыться в живом языке и ставших непонятными деревенской молодежи...

Когда я целыми неделями жил в домике один, эта старуха в свои 83 года не раз поднималась ко мне в домик по крутому склону. Хочется взглянуть, говорила она, тут ли я и не забрал ли меня паче чаяния «тот». Ночь перед смертью она провела, разговаривая с близкими. И еще за полтора часа до кончины наказала им передать привет «господину профессору». Такая память значит несравненно больше, чем самый ловкий репортаж о так называемой моей философии в интернациональном органе печати. Мир горожан рискует впасть в очередную ересь.

Часто кажется, что заботу о крестьянах взяла на себя навязчивость – нарочито шумная и деловитая. Однако таким путем как раз отрекаются от того, что сейчас единственно необходимо, – отступить и держаться на расстоянии от крестьянского бытия, более чем когда-либо предоставив его собственному закону; руки прочь – чтобы не втянуть это бытие в лживое многословие журналистов, строчащих о народе и его самобытном существовании. Крестьянину вовсе не нужна эта возня горожан вокруг него – он и не хочет ее. А вот что ему нужно и чего он хочет, так это осторожного такта в отношении его бытия со всем его своеобразием. Но сколь многие из горожан, не в последнюю очередь лыжники, в селе, на крестьянском дворе ведут себя так, как будто они «развлекаются» у себя дома, в городе, в своих столичных дворцах! Подобная суеда за один только день напортит больше, чем наладят за целые десятилетия научно-этнографические наставления относительно народности и ее обычаев.

Бросим же снисходительные заискивания и фальшивые игры в народность – и давайте научимся со всей серьезностью относиться к простой и тяжелой жизни там, в горах. И тогда она вновь заговорит для нас...

Часть I

Слова Ницше «Бог мертв»

Нижеследующее пояснение – это попытка указать в ту сторону, откуда когда-нибудь сможет быть поставлен вопрос о сущности нигилизма. Пояснение это ведет свое происхождение из такого мышления, которое начинает впервые обретать ясность относительно положения Ницше в истории западной метафизики. Указать же значит уяснить одну из стадий западной метафизики, предположительно последнюю стадию ее, потому что иные возможности метафизики уже не могут становиться зрими постольку, поскольку метафизика через посредство Ницше в известном смысле отнимает у себя свои собственные сущностные возможности. Благодаря произведенному Ницше обращению метафизика остается лишь извращением в свою несуть. Сверхчувственное становится несостоятельным продуктом чувственного. А чувственное вместе с таким снижением своей противоположности изменяет своей собственной сущности. Низложение сверхчувственного устраняет и то, что просто чувственно, и вместе с тем устраняет их различие. Низложение сверхчувственного заканчивается на «ни... ни...», что касается различения чувственного ($\alpha\iota\sigma\theta\eta\tau\acute{o}\nu$) и нечувственного ($\nu\omicron\eta\tau\acute{o}\nu$). Низложение заканчивается бессмысленностью. И все же оно остается непродумываемой, непреодолимой предпосылкой ослепленных попыток ускользнуть от бессмысленного просто посредством придания смысла.

В дальнейшем метафизика всюду понимается как истина сущего как такового в целом, не как учение такого-то мыслителя. У любого мыслителя свое особое философское положение внутри метафизики. Поэтому метафизику можно называть его именем. Однако в соответствии с тем, как мыслится здесь метафизика, это отнюдь не будет означать, что такая-то метафизика – это создание и собственность мыслителя как личности в публичных пределах культурного творчества. В каждую фазу метафизики зрима соответствующая часть пути, какой судьба бытия прокладывает через сущее во внезапно разражающихся эпохах истины. Сам Ницше поступь западного исторического совершения истолковывает метафизически, а именно как восхождение и разворачивание нигилизма. Продумывание метафизики Ницше становится осмыслением ситуации и местоположения сегодняшнего человека, судьба которого, что касается истины его, пока малоизведана. Но если только осмысление такого рода не остается пустопорожным отчетом и повтором, оно поднимается над тем, что, собственно, осмысляется. Подниматься над чем-либо не означает непременно превышать, превосходить что-либо, не означает и преодолевать. Если мы осмысляем метафизику Ницше, то это не значит, что наряду с его этикой, теорией познания и эстетикой мы теперь прежде всего учитываем его метафизику, но это значит только одно: мы пытаемся принимать Ницше-мыслителя всерьез. Мыслить же для Ницше тоже значит представлять сущее как сущее. Всякое метафизическое мышление – это онтология или же вообще ничто. Что же до нашей попытки осмысления, то тут все дело в том, чтобы приуготовить простой и неприметный шаг мышления. Приуготовляющему мышлению крайне важно проредить и просветлить те просторы, в пределах которых бытие вновь могло бы принять человека – в отношении его сущности – в некую изначальную сопряженность с ним. Быть приуготовляющим – вот суть такого мышления.

Подобное сущностное, а потому во всем и во всех аспектах лишь приуготовляющее мышление движется в неприметности. Здесь любое со-мышление, даже и самое неумелое и неловкое, окажет существенную подмогу. Деятельность со-мышления никак не бросается тут в глаза, ее никак не оправдать ни значимостью, ни полезностью, – это посев, а сеятели – те, что, быть может, не увидят ни побегов, ни спелых зерен, и не узнают жатвы и урожая. Они служат севу, а еще прежде того подготовке к севу.

Сеу предшествует пахота. И нужно сделать плодородным то поле, которое вследствие неизбежным ставшего владычества страны метафизики должно было оставаться заброшенным и никому не ведомым. Нужно прежде всего почувствовать, предощутить это поле, а потом уж отыскать и возделывать. Нужно в самый первый раз пройти дорогой, ведущей к этому полю. Много еще есть на свете неведомых проселков, ведущих к полям. И однако каждому мыслящему отведен лишь один путь, и это его путь, – и он, прокладывая его, обязан ходить по нему взад-вперед, до тех пор, пока наконец не приучится он выдерживать направление и не признает своим тот путь, который, однако, никогда не будет принадлежать ему, до тех пор, пока наконец не научится говорить то, что можно изведать лишь на этом и ни на каком другом пути.

В соответствии с сущностным переплетением метафизики с науками (метафизика сама его требует и все снова и снова стремится к нему, и науки – поросль самой же метафизики) приуготовляющее мышление иной раз само должно вращаться в кругу наук, потому что науки в многообразных своих обликах то сознательно, то по способу своей значимости и действительности все еще притягают на то, чтобы задавать фундаментальную форму знания, а равно и всего того, что доступно знанию. Чем однозначнее устремляются науки к предопределенному им техническому бытийствованию со всеми его отпечатлениями, тем решительнее проясняется вопрос о той возможности знания, на какую притягают в технике, о ее способах, пределах, о ее правомочности.

Приуготовляющее мышление, его осуществление невозможны без воспитания – необходимо научить мыслить прямо посреди наук. Самое трудное – найти для этого сообразную форму, так чтобы воспитание мышления не падало жертвой смешения его с научным исследованием и с ученостью. Подобное преднамерение прежде всего подвергается опасности тогда, когда этому мышлению одновременно с тем постоянно приходится лишь отыскивать свое собственное местопребывание. Мыслить прямо посреди наук значит проходить мимо них без презрения к ним...

Одно совершающееся событие беспрестанно затрагивает мышление, не давая ему покоя, – то, что хотя в истории западного мышления сущее с самого начала мыслится в аспекте бытия, тем не менее истина бытия остается непродуманной и как возможный опыт не только заказана мышлению, но и само же западное мышление именно в обличье метафизики, пусть и не ведая того, скрывает от глаз это вершащееся недопущение.

Приуготовляющее мышление необходимо остается поэтому в области осмысления исторического совершения. История для такого мышления – не череда эпох, но все одна и та же близость одного и того же, – это одно и то же без конца затрагивает мышление не подлежащими никакому расчету способами судьбы, меняя степень своей непосредственности.

Сейчас наше осмысление направлено на метафизику Ницше. Его мышление стоит под знаком нигилизма. Вот как именуется историческое движение, распознанное Ницше, – оно властно проникает собою уже и предшествующие века и определяет нынешний век. Свое истолкование этого движения Ницше сводит в короткую фразу: «Бог мертв».

Можно было бы предположить, что эти слова – «Бог мертв» – выражают мнение атеиста Ницше, чисто личное, а потому одностороннее, – тогда нетрудно опровергнуть его ссылкой на то, что в наше время очень многие посещают храмы, перенося свои беды и тяготы на основе определенной христианством веры в Бога. Однако остается вопрос: правда ли, что приведенные слова Ницше – лишь экзальтированный взгляд мыслителя, о котором вам не преминут напомнить, что напоследок он сошел с ума? Можно еще спросить: не выговаривает ли здесь Ницше то самое слово, которое непрестанно молчаливо раздавалось все время, пока только историческое совершение Запада определялось метафизически? А потому мы, во всяком случае, не должны спешить выносить свое суждение об этих словах, но должны попытаться мыслить их так, как они были задуманы. Поэтому весьма уместно отложить в сторону любые

поспешные мнения, которые, как только страшные эти слова произнесены, торопятся поскорее занять место впереди.

В дальнейшем мы пытаемся, рассуждая, разъяснить слова Ницше в некоторых существенных их аспектах. И еще раз напомним со всей остротой: слова Ницше нарекают судьбу Запада в течение двух тысячелетий его истории. Мы же, сколь бы неподготовленными ни были, не должны думать, будто стоит нам прочесть доклад об этих словах Ницше, как судьба эта сразу же переменится или, на худой конец, мы по-настоящему изведем ее. Тем не менее нам сейчас крайне необходимо одно – воспринять некий урок из своего осмысления, а воспринимая урок, учиться осмыслять.

Однако никакое разъяснение не должно довольствоваться тем, что извлечет суть дела из текста, – оно, отнюдь тем не похвально, обязано приложить сюда и нечто свое. Такой прибавок человек непосвященный, принимая за содержание текста то-то и то-то, всегда ощущает как нечто вчитанное в текст со стороны толкователя и, притязая на свое право судить, подвергает его критике. Однако настоящее разъяснение никогда не разумеет текст лучше автора – но только разумеет его иначе. И необходимо только, чтобы это иное затрагивало то же самое, не промахивалось мимо того, чему следует своей мыслью поясняемый текст.

Впервые слова «Бог мертв» Ницше произнес в третьей книге сочинения *Веселая наука*, вышедшего в 1882 году. С этого сочинения начинается путь к сложению основной метафизической позиции Ницше. Это сочинение Ницше и его напрасные мучения по построению задуманного главного труда жизни¹ разделены публикацией книги *Так говорил Заратустра*. Запланированный же главный труд так никогда и не был завершен. Одно время Ницше предполагал назвать его так – *Воля к власти* — с подзаголовком «Опыт переоценки всех ценностей».

Ошеломляющая нас мысль о смерти Бога, о смерти Богов была знакома Ницше уже в юности. В одной из записей, относящихся ко времени работы над первым своим сочинением, *Рождением трагедии*, Ницше говорит (1870): «Верую в издревле германское: всем Богам должно будет умереть»². Молодой Гегель в конце своего трактата *Вера и знание* (1802) пишет о «чувстве, на которое опирается вся религия нового времени, о чувстве: сам Бог мертв...»³. В словах Гегеля – мысль об ином, нежели у Ницше. И все же есть между ними, Гегелем и Ницше, существенная взаимосвязь, скрывающаяся в сущности любой метафизики. Сюда же, к этой же области, относятся и слова Паскаля, заимствованные из Плутарха: «Le grand Pan est mort»⁴ (*Pensees*, 695).

Сначала же давайте выслушаем полный текст отрывка 125-го из книги *Веселая наука*. Отрывок озаглавлен: *Безумец*; он гласит:

Безумец. – Как, вы ничего не слышали о том ошалелом, что среди бела дня зажег фонарь, отправился на площадь и там без передышки кричал: «Ищу Бога! Ищу Бога!»?!.. А там как раз толпилось много неверующих, которые, заслышав его крики, принялись громко хохотать. «Он что – потерялся?» – сказал один. «Не заблудился ли он, словно малое дитя?» – сказал другой.

«Или он спрятался в кустах? Или боится нас? Или отправился на галеру? Уплыл за море?» – так не переставая шумели они и гоготали. А безумец ринулся в самую толпу, пронзая их своим взглядом. «Куда подевался Бог? – вскричал он. – Сейчас я вам скажу! *Мы его убили* – вы и я! Все мы его убийцы! Но как мы его убили? Как сумели исчерпать глуби морские? Кто дал нам в руки губку, чтобы стереть весь небосвод? Что творили мы, отцепляя Землю от Солнца? Куда она теперь летит? Куда летим все мы? Прочь от Солнца, от солнц? Не падаем ли мы безостановочно? И вниз – и назад, и в бок, и вперед, и во все стороны? И есть ли еще верх и низ? И не блуждаем ли мы в бесконечном Ничто? И не зевает ли нам в лицо пустота? Разве не стало холоднее? Не наступает ли всякий миг Ночь и все больше и больше Ночи? Разве не приходится зажигать фонари среди бела дня? И разве не слышим мы кирку гробокопателя, хоронящего Бога? И носы наши – разве не чуют они вонь гниющего Бога? – Ведь и Боги тлеют! Бог мертв!

Он и останется мертвым! И это мы его убили! Как утешиться нам, убийцам из убийц? Самое святое и крепкое, чем обладал до сей поры мир, – оно истекло кровью под ударами наших ножей, – кто оботрет с нас кровь? Какой водой очистимся? Какие искупительные празднества, какие священные игрища не придется изобретать нам? Не слишком ли велико для нас величие этого подвига? Не придется ли нам самим становиться богами, чтобы оказаться достойным его? Никогда еще не свершалось деяние столь великое – благодаря ему кто бы ни родился после нас, он вступит в историю более возвышенную, нежели все бывшее в прошлом!... Тут умолк безумный человек и опять взглянул на тех, что слушали его, – они тоже молчали и с недоверием глядели на него. Наконец, он швырнул фонарь на землю, так что тот разбился и погас.

«Я пришел слишком рано, – сказал он, помолчав, – еще не мое время. Чудовищное событие – оно пока в пути, оно бредет своей дорогой, – еще не достигло оно ушей человеческих. Молнии и грому потребно время, свету звезд потребно время, деяниям потребно время, чтобы люди слышали о них, чтобы люди узрели их, уже совершенные. А это деяние все еще дальше самых дальних звезд от людей, – и все-таки они содеяли его!»... Рассказывают еще, что в этот день безумец врывался в церкви и затягивал там *Requiem aeternam*⁵. Когда же его выводили за руки, требуя ответа, он всякий раз отвечал одними и теми же словами: «Что же такое теперь все эти церкви, если не усыпальницы и не надгробия Божии?»⁶

Спустя четыре года (1886) Ницше прибавил к четырем книгам *Веселой науки* пятую, озаглавленную *Мы, бесстрашные*. Первый ее отрывок (афоризм 343) назван *Каково тут нашей радости*. Он начинается так: «Величайшее из событий новейшего времени, – “Бог мертв”, вера в христианского Бога сделалась неправдоподобной, – оно начинает отбрасывать теперь свою тень на всю Европу»⁷.

Отсюда ясно, что слова Ницше подразумевают смерть христианского Бога. Однако не менее достоверно, и о том следует знать с самого начала, что у Ницше, в его мысли, слова «Бог» и «христианский Бог» служат для обозначения сверхчувственного мира вообще. Бог – наименование сферы идей, идеалов. Эта область сверхчувственного, начиная с Платона, а точнее, с позднегреческого и христианского истолкования платоновской философии, считается подлинным и в собственном смысле слова действительным миром. В отличие от него, чувственный мир лишь посюсторонен и изменчив – потому он кажущийся и недействительный. Посюсторонний мир – юдоль печали, в отличие от горнего мира вечного блаженства по ту сторону вещей. Если, подобно еще Канту, называть мир чувственный миром физическим в более широком смысле, тогда сверхчувственный мир будет миром метафизическим.

Слова «Бог мертв» означают: сверхчувственный мир лишился своей действенной силы. Он не подает уже жизнь. Пришел конец метафизике – для Ницше это вся западная философия, понятая как платонизм. Свою же собственную философию Ницше понимает как движение против метафизики – для него это значит против платонизма.

Однако всякое контрдвижение, как и вообще всякое «анти-», необходимо застревает в сущности того, против чего выступает. Движение против метафизики, будучи всего-навсего выворачиванием ее наизнанку, остается у Ницше безысходно запутанным в ней, так что метафизика отгораживается у него от своей собственной сущности словно каменной стеной, а потому не в состоянии мыслить свою сущность. Поэтому для метафизики и через нее по-прежнему скрыто, что совершается в ней и что, собственно, совершается как метафизика.

Коль скоро Бог как сверхчувственная основа, как цель всего действительного мертв, а сверхчувственный мир идей утратил свою обязательность и прежде всего лишился силы будить и созидать, не остается вовсе ничего, чего бы держался, на что мог бы опереться и чем мог бы направляться человек. Потому в читанном нами отрывке и значит: «И не блуждаем ли мы в бесконечном Ничто?» Слова «Бог мертв» заключают в себе утверждение: Ничто ширится во

все концы. «Ничто» означает здесь отсутствие сверхчувственного, обязательного мира. Нигилизм, «неприятнейший из гостей», – он у дверей.

Попытка пояснить слова Ницше «Бог мертв» тождественна задаче изложить, что понимает Ницше под нигилизмом, и тем самым показать, в каком отношении сам он находится к нигилизму. Поскольку, однако, словом «нигилизм» нередко пользуются, лишь бы наделать побольше шуму и сотрясти воздух, а порой и как бранным словом, то необходимо знать, что оно означает. Не все из тех, кто ссылается на свою христианскую веру и метафизические убеждения, тем самым уже пребывают вне нигилизма. И наоборот, не каждый из тех, кого заботят мысли о Ничто и о сущности его, нигилист.

Слово «нигилист» любят произносить в таком тоне, как если бы самого этого наименования, даже если ничего не думать, выговаривая его, уже было достаточно для доказательства того, что одно лишь осмысление Ничто неминуемо ведет к падению в Ничто и знаменует собою утверждение диктатуры Ничто.

Вообще, нам придется спросить, одно ли только нигилистическое значение, то есть негативное, ведущее в ничтожествование Ничто, присуще «нигилизму», если брать его строго в том смысле, какой мыслится в философии Ницше. При той расплывчатости и произвольности, с какой пользуются этим словом, весьма необходимо, еще и не приступая к точному обсуждению того, что же говорит о нигилизме сам Ницше, найти верный взгляд на него, и только затем мы сможем уже спрашивать о том, что такое нигилизм.

Нигилизм – это движение в историческом совершении, а не какой-нибудь взгляд, не какое-нибудь учение, какие кто-либо разделял и каких кто-либо придерживался. Нигилизм движет историческое совершение, как может движуть его еще почти не распознанный фундаментальный процесс внутри судьбы народов Запада. По этому же самому нигилизм и не только историческое явление наряду с другими, не только духовное течение, какое встречалось бы в истории Запада наряду с другими, наряду с христианством, гуманизмом, просвещением.

Нигилизм, если мыслить его по его сущности, – это, скорее, основополагающее движение в историческом совершении Запада. И такова глубина этого движения, что его разворачивание может лишь повести к мировым катастрофам. Нигилизм – это всемирно-историческое движение тех народов земли, которые вовлечены в сферу влияния Нового времени. Поэтому он и не явление только лишь современной эпохи, и не продукт XIX века, когда, правда, обострилось внимание к нигилизму и вошло в употребление само слово⁸. Точно так же нигилизм и не порождение отдельных наций, чьи мыслители и литераторы говорят о нигилизме. Может случиться и так, что мнящие себя не затронутыми им наиболее основательно способствуют его разворачиванию. Зловещ и неприятен гость, неприятнейший из всех, – еще и тем зловещ, что не может назвать свой исток.

И воцаряется нигилизм не только лишь тогда, когда начинают отрицать христианского Бога, бороться с христианством или, скажем, вольнодумно проповедовать незамысловатый атеизм. Пока мы ограничиваем свой взор исключительно таким отвращающимся от христианства неверием и его проявлениями, наш взгляд задерживается на внешнем, жалком фасаде нигилизма. Речи безумца ведь прямо говорят о том, что слова «Бог мертв» не имеют ничего общего с мнениями «не верующих» в Бога праздных зевак, которые говорят все разом. До таких людей без веры нигилизм – судьба их же собственной вершащейся истории – вообще еще не пробился.

До тех пор, пока мы будем постигать слова «Бог мертв» лишь как формулу неверия, мы продолжаем разуметь их в богословско-апологетическом смысле, отмежевываясь от всего того, что было самым важным для Ницше, а именно от такого осмысления, которое следовало бы мыслью за тем, что уже совершилось с истиной сверхчувственного мира и ее отношением к сущности человека.

Поэтому же нигилизм, как разумел его Ницше, не покрывается и тем чисто негативно представляемым состоянием, когда люди уже не могут верить в христианского Бога библей-

ского откровения, – точно так же, как и под христианством Ницше понимает не ту жизнь христиан, какая существовала лишь единожды в течение совсем недолгого времени, пока не были составлены Евангелия и не началась миссионерская деятельность Павла. Для Ницше христианство – это феномен церкви с ее притязаниями на власть, феномен исторический, феномен светской политики в рамках складывания западного человечества и культуры Нового времени. В этом смысле так понимаемое христианство и христианский дух новозаветной веры – не одно и то же. И жизнь далеко не христианская может утверждать христианство, пользуясь им как фактором силы, и, наоборот, христианская жизнь отнюдь не непременно нуждается в христианстве. Поэтому спор с христианством отнюдь не обязательно должен повлечь за собой борьбу с христианским духом – ведь и критика богословия не означает еще критики веры, истолкованием которой призвано служить богословие. Пока пренебрегают этими существенными различиями, остаются на уровне низкопробной борьбы мировоззрений.

«Бог» в словах «Бог мертв», если продумывать его по его сущности, замещает сверхчувственный мир идеалов, заключающих в себе цель жизни, что возвышается над самой же земной жизнью, и тем самым определяющих ее сверху и в известном смысле извне. Когда же начинает исчезать незамутненная, определяемая церковью вера в Бога, а в особенности ограничивается и оттесняется на задний план вероучение, богословие в его роли задающего меру объяснения сущего в целом, то в результате этого отнюдь не разрушается еще основополагающий строй, согласно которому земная, чувственная жизнь управляется целеполаганием, захватывающим в сферу сверхчувственного.

Авторитет Бога, авторитет церкви с ее учительной миссией исчезает, на его место заступает авторитет совести, авторитет рвущегося сюда же разума. Против них восстает социальный инстинкт. Бегство от мира в сферу сверхчувственного заменяется историческим прогрессом. Потусторонняя цель вечного блаженства преобразуется в земное счастье для большинства. Попечение о религиозном культе сменяется вдохновенным созиданием культуры или распространением цивилизации. Творческое начало, что было прежде отличительной чертой библейского Бога, отмечает теперь человеческую деятельность. Человеческое творчество переходит, наконец, в бизнес и гешефт.

Итак, место сверхчувственного мира спешат занять производные церковно-христианского и богословского истолкования мира: оно свою схему *ordo*, иерархического порядка сущего, заимствовало в эллинистически-иудейском мире, а основополагающий строй его был учрежден Платоном в начальную пору западной метафизики.

Область, где совершается сущность и разверзается событие нигилизма, – это сама же метафизика, при непереносимом условии, однако, что мы, применяя это слово – «метафизика», будем разуметь под ним не философское учение и тем более не какую-то отдельную дисциплину философии, а будем думать об основополагающем строе сущего в целом, о том строе, при котором различаются чувственный и сверхчувственный миры и первый опирается на второй и определяется им. Метафизика – это пространство исторического совершенства, пространство, в котором судьбою становится то, что сверхчувственный мир, идеи, Бог, нравственный закон, авторитет разума, прогресс, счастье большинства, культура, цивилизация утрачивают присущую им силу созидания и начинают ничтожествовать. Мы такое сущностное распадение всего сверхчувственного называем забвением⁹, тлением, гниением. Поэтому неверие в смысле отпадения от христианского вероучения никогда не бывает сущностью и основанием нигилизма – всегда оно лишь его следствие; может случиться ведь и так, что и само христианство представляет собой следствие и определенное выражение нигилизма.

Теперь, отсюда, мы можем распознать и самое последнее отклонение в сторону, самое последнее заблуждение, какому подвержены люди, когда они пытаются постичь и, как они мнят, опровергнуть нигилизм. Не постигнув нигилизм как движение внутри исторического совершенства, длящееся уже долгое время и своим сущностным основанием покоящееся в самой

же метафизике, люди предаются гибельному пристрастию принимать за сам нигилизм явления, представляющие собою лишь его последствия, а за причины нигилизма – его последствия и воздействия. Бездумно приноровляясь к такой манере представлять вещи, люди в течение десятилетий привыкают к тому, чтобы в качестве причин исторической ситуации эпохи приводить господство техники или восстание масс, неумоимо расчлняя духовную ситуацию времени в соответствии с подобными аспектами. Однако, сколь бы многосведущ, проницателен и остроумен ни был анализ человека и его положения внутри всего сущего, он продолжает оставаться бездумным, порождая лишь видимость осмысления, до тех пор, пока забывают думать о местоположении бытийствующего человека, пока не постигают его местоположение в истине бытия.

Пока мы не перестанем принимать явления нигилизма за сам нигилизм, наше отношение к нигилизму останется поверхностным. Оно не будет в состоянии сдвинуть с места хотя бы самую малость, даже если и почерпнет известную страстность оказываемого им отпора то ли во всеобщей неудовлетворенности мировым положением, то ли в отчаянии, в каком не решится признаться себе вполне, то ли в моральном негодовании или в самонадеянном превосходстве верующего над другими.

В противовес всему этому необходимо одно – чтобы мы начали осмыслять. Поэтому спросим теперь самого Ницше, что же понимает он под нигилизмом, и поначалу пусть останется открытым, улавливает ли Ницше сущность нигилизма и может ли он уловить ее, понимая нигилизм так.

В одной из записей 1887 года Ницше ставит вопрос (*Воля к власти*, афоризм 2): «Что означает нигилизм?» И отвечает: «То, что высшие ценности обесцениваются».

Ответ этот вопрос подчеркнут и снабжен пояснением: «Нет цели, нет ответа на вопрос “почему?”»¹⁰.

Если следовать этой записи, то Ницше понимает нигилизм как процесс в историческом совершении. Он интерпретирует этот процесс как обесценивание высших ценностей, какие существовали прежде. Бог, сверхчувственный мир как мир истинно сущий и все определяющий, идеалы и идеи, цели и основания, которые определяют и несут на себе все сущее и человеческую жизнь во всем особенном, – все здесь представляется в смысле высших ценностей. Согласно мнению, распространенному еще и теперь, под высшими ценностями понимаются истина, добро и красота: истинное, то есть сущее в действительности; благое, в чем повсюду все дело; прекрасное, то есть порядок и единство сущего в целом. Однако высшие ценности начинают обесцениваться уже вследствие того, что люди постепенно осознают: идеальный мир неосуществим, его никогда не удастся осуществить в пределах мира реального. Обязательность высших ценностей тем самым поколеблена. Встает вопрос: для чего же нужны эти высшие ценности, если они не обеспечивают гарантий, средств и путей осуществления полагаемых вместе с ними целей?

Если бы мы, однако, пожелали вполне буквально понять ницшевское определение сущности нигилизма, – он состоит в том, что высшие ценности утрачивают всякую ценность, – то в итоге получили бы то самое постижение сущности нигилизма, которое меж тем широко распространилось и распространенность которого поддерживается самим же наименованием – «нигилизм»: обесценение высших ценностей означает явный упадок. Однако для Ницше нигилизм отнюдь не только явление упадка – нигилизм как фундаментальный процесс западной истории вместе с тем и прежде всего есть закономерность этой истории. Поэтому и в размышлениях о нигилизме Ницше важно не столько описание того, как исторически протекает процесс обесценения высших ценностей, что дало бы затем возможность исчислять закат Европы, – нет, Ницше мыслит нигилизм как «внутреннюю логику» исторического совершения Запада. Ницше при этом понимает, что по мере того, как для мира обесцениваются прежние высшие ценности, сам мир все же не перестает существовать и что именно этот лишившийся ценностей

мир неизбежно будет настаивать на полагании новых ценностей. Коль скоро прежние высшие ценности рухнули, то новое полагание ценностей неминуемо становится по отношению к ним «переоценкой всех ценностей». «Нет» прежним ценностям проистекает из «да» новым ценностям. Поскольку же, по мнению Ницше, для этого «да» нет ни возможности опосредования, ни возможности компромисса с прежними ценностями, такое безусловное «нет» входит внутрь «да» новым ценностям. Для того же, чтобы обеспечить безусловность нового «да», предотвратив возврат к прежним ценностям, то есть для того чтобы обосновать полагание новых ценностей как движение против старых, Ницше и новое полагание ценностей продолжает именовать нигилизмом, то есть таким нигилизмом, через посредство которого обесценивание прежних завершается полаганием новых, единственно задающих теперь меру ценностей. Такую задающую меру фазу нигилизма Ницше именует «совершенным», то есть классическим нигилизмом. Под нигилизмом Ницше понимает обесценивание прежних высших ценностей. Но одновременно он позитивно («да») относится к нигилизму в смысле «переоценки всех прежних ценностей». Поэтому слово «нигилизм» не перестает быть многозначным, и, если иметь в виду крайние значения, оно прежде всего двусмысленно, двусмысленно, поскольку в одном случае обозначает просто обесценивание прежних высших ценностей, а в другом одновременно и безусловное контрдвижение против обесценивания. Двусмысленно в этом отношении уже и то, что Ницше приводит в качестве праформы нигилизма пессимизм. Согласно Шопенгауэру, пессимизм – это вера в то, что в наисквернейшем из миров жизнь не стоит того, чтобы жить, чтобы утверждать ее. По такому учению и жизнь, и, следовательно, сущее как таковое в целом надлежит отрицать. Такой пессимизм, по Ницше, – «пессимизм слабости». Для такового повсюду один только мрак, всюду есть причина, чтобы ничего не удавалось; он притязает на знание того, как что будет протекать – именно под знаком вездесущей беды, краха. Напротив, пессимизм силы, пессимизм как сила и крепость не строит себе ни малейших иллюзий, видит опасности, не желает ничего заглушевывать и подмалевывать. И он насквозь провидит фатальность настоящего бездеятельного ожидания – не вернется ли прежнее. Он аналитически вторгается в явления, он требует ясного осознания тех условий и сил, которые, несмотря ни на что, все же позволят совладать с исторической ситуацией и обеспечат успех.

Более существенное осмысление могло бы показать, что в этом «пессимизме силы», как именует его Ницше, довершается восстание человечества Нового времени – оно восстает в безусловное господство субъективности в рамках субъектности сущего. Через посредство пессимизма в двух его формах наружу выступают крайности. Крайности как таковые сохраняют перевес. Так возникает состояние безусловной заостренности: или – или. Заявляет о себе «промежуточное состояние», в котором, с одной стороны, становится явным, что не исполниться осуществлению прежних высших ценностей. Мир выглядит лишенным ценности. А с другой стороны, осознание всего этого направляет ищущий взор к источнику нового полагания ценностей, причем, конечно, в итоге мир отнюдь не обретает вновь прежней своей ценности.

Впрочем, перед лицом столь поколебленного господства прежних ценностей можно попытаться сделать и нечто иное. А именно: если Бог – христианский Бог – исчез со своего места в сверхчувственном мире, то само это место все же остается – пусть даже и опустевшее. И вот эту опустевшую область сверхчувственного, область идеального мира все еще можно удерживать. И опустевшее место даже вызывает к тому, чтобы его заняли, заместив исчезнувшего Бога чем-то иным. Воздвигаются новые идеалы. Согласно Ницше (*Воля к власти*, афоризм 1021 – относится к 1887 году¹¹), это и происходит через посредство новых учений, обещающих осчастливить мир, через посредство социализма, а равным образом и через посредство музыки Вагнера, – иными словами, все это совершается повсюду, где «догматическое христианство» уже «отжило свой век». Так появляется «неполный», еще не заверченный нигилизм. Ницше говорит по этому поводу (*Воля к власти*, афоризм 28 – относится к 1887 году): «Неполный

нигилизм, его формы: мы живем прямо посреди него. Попытки избежать нигилизма *без* переоценки прежних ценностей – они производят обратное, усугубляют проблему»¹².

Мы можем яснее и отчетливее сформулировать мысли Ницше о неполном нигилизме: неполный нигилизм хотя и заменяет прежние ценности иными, но по-прежнему ставит их на старое место, которое как бы сохраняется в качестве идеального места сверхчувственного. Полный же, завершённый нигилизм обязан устранить даже и самое место ценностей – сверхчувственное как область – и соответственно с этим полагать ценности иначе, переоценивать.

Отсюда становится ясно: завершённый, совершенный, тем самым классический нигилизм хотя и не мыслим без переоценки всех прежних ценностей, но переоценка не просто заменяет старые ценности новыми. Переоценка становится переворачиванием самих способов оценивания. Полагание ценностей нуждается в новом принципе – в том, из которого будет исходить и в котором будет пребывать. Полагание ценностей нуждается в новой области. Принципом уже не может быть мир сверхчувственного, ставший безжизненным. Поэтому и нигилизм, устремляющийся к переоценке, понятой таким образом, станет отыскивать самое что ни на есть живое. Сам же нигилизм становится «идеалом изобильнейшей жизни» (*Воля к власти*, афоризм 14 – относится к 1887 году¹³). В этой новой высшей ценности скрывается то, что тут совсем иначе дорожат жизнью, то есть тем, в чем покоится определяющая сущность всего живого. Поэтому остается спросить, что разумеет Ницше под жизнью.

Ссылка на существование различных ступеней и форм нигилизма показывает, что в интерпретации Ницше нигилизм – это в любом случае совершение, такое совершение, в котором дело идет о ценностях, об их полагании, об их обесценивании, об их переоценке и новополагании и наконец – вот самая суть – о полагании принципа любого полагания ценностей, о таком полагании, при котором все начинает оцениваться иначе. Наивысшие цели, принципы и основания сущего, идеалы и сверхчувственное, Бог и боги – все это уже заведомо постигнуто здесь как ценности. Поэтому мы лишь тогда удовлетворительно поймем ницшевское понятие нигилизма, когда узнаем, что понимает Ницше под ценностью. И только на этом основании мы уразумеем слова «Бог мертв» так, как мыслил их Ницше. В достаточной мере прояснить, что мыслит Ницше под словом «ценность», – значит обрести ключ к уразумению его метафизики.

В XIX веке говорить о ценностях, мыслить ценностями становится делом привычным. Но лишь вследствие распространения сочинений Ницше ценности вошли в обиход. Говорят о жизненных ценностях, о культурных, о вечных ценностях, об иерархии ценностей, о духовных ценностях, каковые надеются обрести, например, в античности. Ученые занятия философией, реформа неокантианства приводят к философии ценностей. Тут строят системы ценностей, в этике прослеживают наложения ценностей. Даже в христианской теологии Бога, *summum ens qua summum bonum*¹⁴, определяют как наивысшую ценность. Науку полагают свободной от ценностей, всякое оценивание относя на сторону мировоззрений. Ценность, как и все ценностное, становится позитивистской заменой метафизического. Чем чаще говорят о ценностях, тем неопределеннее само понятие. А неопределенность, в свою очередь, соответствует непроглядности, с которой сущность ценности истекает из бытия. Ибо если предположить, что ценность, на которую без конца ссылаются, не ничто, сущность ее должна заключаться в бытии.

Что разумеет Ницше под «ценностью»? В чем основывается сущность ценности? Почему метафизика Ницше – это метафизика ценностей?

В одной из записей (1887–1888) Ницше говорит о том, что он разумеет под ценностью (*Воля к власти*, афоризм 715): «Точка зрения “ценности” – это точка зрения условий сохранения, возвышения, что касается сложных образований с относительной длительностью жизни в пределах становления»¹⁵.

Сущность ценности покоится в том, что она – точка зрения. Ценность подразумевает то, что схватывается смотрящим оком. Ценность – это точка глаза, точка глаза для такого смот-

рения, которое что-то усматривает или, как мы говорим, на что-то рассчитывает, а при этом должно считаться и с иным. Ценность пребывает во внутренней сопряженности – с таким-то количеством, с квантом, с числом. Поэтому ценности (*Воля к власти*, афоризм 710 – относится к 1888 году) сопряжены со «шкалой числа и меры»¹⁶. И остается только спросить, на чем, в свою очередь, основывается шкала возрастания и убывания.

Как только ценность охарактеризована как точка зрения, отсюда следует нечто определенное, существенное для ницшевского понятия ценности: в качестве точки зрения ценность всегда полагается смотрением и для смотрения. Смотрение это таково, что оно видит постольку, поскольку видело; что оно видело постольку, поскольку представляло себе таким увиденное и таким полагало его. Лишь вследствие такого представляющего полагания точка, столь необходимая для усмотрения чего-либо нужного и этим направляющая линию смотрения, становится точкой глаза, то есть тем, в чем все дело, когда смотришь и делаешь то, что направляется зрением. Итак, ценности – это отнюдь не нечто такое, что сначала существовало бы в себе и лишь затем могло бы при случае рассматриваться как точка зрения.

Ценность – ценность, пока она признается и значима¹⁷. А признана и значима она до тех пор, пока полагается как то, в чем все дело. Таким образом она полагается усмотрением и смотрением-на – смотрением на то, с чем приходится, с чем должно считаться. Точка зрения, взгляд-на, кругозор – все это подразумевает здесь зрение и видение в том смысле, в каком предопределено оно было греками, но только прошло весь путь преобразования идеи (*idea*) от *eidos*’а до *perceptio*. Смотрение – это такое представление, которое начиная с Лейбница более явно схватывается как стремление (*appetitus*). Всякое сущее – представляющее; представляющее постольку, поскольку к бытию сущего принадлежит *nisus*, тяга к выступлению, тяга, которая, повелевая выходом (явлением), определяет то, как предъясняется это сущее. Всякое сущее с его «низусностью» таким себя принимает и потому полагает для себя точку глаза. А точка глаза задает взгляд-на, которому должно следовать. Точка глаза и есть ценность.

Вместе с ценностями как точками зрения, согласно Ницше, полагаются «условия сохранения, возрастания». Уже этим написанием – между «сохранением» и «возрастанием» опущено «и», замененное знаком препинания, – Ницше проясняет: ценности по сущности своей – точки зрения, а потому одновременно всегда и условия сохранения, и условия возрастания. Где бы ни полагались ценности, всегда должны одновременно схватываться взором оба условия – так, чтобы всегда оставаться едиными в сопряженности между собой. Почему? Очевидно, лишь потому, что таково по своей сущности само сущее в своем стремлении-представлении, – оно нуждается в такой двойной точке глаза. Условием чего же служат ценности в качестве точек зрения, если в одно и то же время они должны обуславливать и сохранение, и возрастание? Сохранение и возрастание характеризуют неотрывные друг от друга основные тяготения жизни. Сущность жизни немыслима без желания роста, возрастания. Сохранение жизни всегда служит возрастанию. Если жизнь ограничивается самосохранением, она деградирует. Так, к примеру, обеспечение жизненного пространства никогда не бывает целью живого – это всегда только средство возрастания, средство возвышения жизни. И наоборот, возросшая жизнь, в свою очередь, возвышает, усиливает потребность в расширении пространства. Однако возрастание невозможно, если не обеспечен основной состав, его постоянство, если он не сохранен как способный к возрастанию. Поэтому живое – это всегда соединенное двумя основополагающими тяготениями возрастания и сохранения «сложное образование жизни». Ценности, будучи точками зрения, направляют смотрение во взгляде-на – во взгляде на «сложные образования». Смотрение – это всякий раз смотрение такого-то жизненного взгляда, и им пронизано всякое живое существо. Полагая точки глаза для всего живого, жизнь оказывается в своей сущности полагающей ценности (ср. *Волю к власти*, афоризм 556 – относится к 1885–1886 годам)¹⁸.

«Сложные жизненные образования» – они всецело зависят от условий сохранения, длительности своего постоянного состава, притом таким образом, что постоянство состава остается лишь для того, чтобы становиться непостоянным в возрастании. Длительность таких сложных жизненных образований покоится во взаимообусловленности возрастания и сохранения. Поэтому длительность лишь относительна. Она остается «относительной длительностью» всего живого и, стало быть, жизни.

Ценность, по словам Ницше, есть «точка зрения условий сохранения, возрастания, что касается сложных образований с относительной длительностью жизни в пределах становления». Само по себе неопределенное слово «становление» здесь, как и вообще на понятийном языке метафизики Ницше, означает не какую-либо текучесть вещей, не простую смену состояний, не означает и какого-либо развития или неопределенного разворачивания. «Становление» означает здесь переход от чего-то к чему-то, то движение и ту подвижность, которые Лейбниц в своей *Монадологии* (§ 11) именует *changements naturels*, которые пронизывают *ens qua ens*, то есть *ens percipiens et appetens*. Это властно пронизывающее всякое сущее начало Ницше мыслит как основную черту всего действительного, то есть сущего в более широком смысле. То же, что таким образом определяет сущее в его *essentia*, Ницше постигает как «волю к власти».

Завершая свою характеристику сущности ценностей на слове «становление», Ницше дает этим последним словом указание на ту основную область, к которой относятся ценности и полагание ценностей вообще. «Становление» – это для Ницше «воля к власти». Тем самым «воля к власти» – это основополагающая черта «жизни» – словом этим Ницше нередко пользуется в широком значении; в согласии с таковым «жизнь» в рамках метафизики (ср. Гегеля) была отождествлена со «становлением». Воля к власти, становление, жизнь и бытие в самом широком смысле – все это одно и то же на языке Ницше (*Воля к власти*, афоризм 582, относящийся к 1885–1886 годам, и афоризм 689, относящийся к 1888 году¹⁹). В пределах становления жизнь, то есть живое, складывается в соответствующие центры воли к власти. Такие центры – образования, осуществляющие господство. В качестве таковых Ницше разумеет искусство, государство, религию, науку, общество. Поэтому Ницше может сказать и так (*Воля к власти*, афоризм 715): «“Ценность” – это, по существу, точка зрения увеличения или убывания этих центров господства»²⁰ (увеличение или убывание относительно их функции господствования).

Коль скоро Ницше в приведенном ограничивании сущности ценности постигает таковую как определяемое точкой зрения условие сохранения и возрастания жизни, а основание жизни видит в становлении как воле к власти, эта воля к власти и раскрывается как то, что полагает те самые точки зрения. Воля к власти – это то, что на основе своего «внутреннего принципа» (Лейбниц), будучи *nisus in esse* всякого *ens*²¹, всему дает свою цену согласно ценностям. Воля к власти – это основание необходимости ценностного полагания и исток самой возможности ценностного полагания. Поэтому Ницше (*Воля к власти*, афоризм 14 – 1887 год) говорит так: «*Ценности и их изменение пропорциональны росту власти у полагающего ценности*»²².

Здесь вполне ясно: ценности – это полагаемые самой же волей к власти условия ее самой. Только тогда, когда воля к власти выходит наружу как основная черта всего действительного, то есть становится истиной и тем самым постигается как действительность всего действительного, становится очевидным, где исток ценностей, чем поддерживается и направляется всякое оценивание. Теперь распознан принцип ценностного полагания. А тогда впредь полагание ценностей можно осуществлять «принципиально», то есть исходя из бытия как основы сущего.

Поэтому воля к власти как вот такой распознанный, а это значит волимый принцип, – это же вместе с тем и принцип нового ценностного полагания. Ново оно потому, что впервые производится сознательно, на основе знания своего принципа. Оно ново, потому что само удо-

стоверяется в своем принципе, обеспечивая его для себя, а обеспечивая, одновременно держится такого удостоверения-обеспечения как ценности, полагаемой на основе ее принципа. Однако воля к власти как принцип нового полагания ценностей – это в отношении к прежним ценностям одновременно и принцип переоценки всех таких прежних ценностей. Поскольку, однако, прежние высшие ценности господствовали над чувственным с высоты сверхчувственного, а строй такого господства – это метафизика, то вместе с полаганием нового принципа переоценки всех ценностей производится и оборачивание всякой метафизики. Ницше принимает такое оборачивание за преодоление метафизики. Однако оборачивание такое лишь запутывается, самоослепляясь, в том же самом – в том же самом, сделавшемся неразборчивым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.